

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Роман

Часть первая

НАСЛЕДНИК

Глава первая

1

Парень вернулся в сумерках и увидел, что улица изменилась. Днем она была и шире и моложе, хотя стояли на ней и старые дома, поставленные здесь раньше завода, даже раньше бараков 30-х годов. Они были срублены из лиственничных бревен и хотя изрядно потемнели, но ни тлен, ни древесный гриб не тронули их... Частью их снесли, частью оставили под склады, а также и в назидание молодым, тем, которым всего было мало.

Собственно, улица была даже старше бабуленьки, что по временам казалось парню даже невероятным, почти невозможным, потому что «старуха», как ее звал отец, казалась родившейся в доисторические, каменноугольные времена.

Конечно, это все ерунда. Зато она могла кое-что порассказать об этой самой улице, много чего интересного или скучного. Иногда дух захватывало, чаще — скука. Тогда парень, слушая ее, смотрел то на толстое, плохо выбритое лицо отца или на узенькое, высохшее лицо старухи, в ее громадные глаза, с веками-пленками, и удивлялся тому, что энергии и силы в ней было хоть отбавляй. И только попробуй не слушать ее долгие, подробные рассказы. Тогда она стучала ложечкой по столу, требуя к себе внимания. И отец вздрагивал от неожиданного сердитого стука.

2

Улица же эта и на самом деле была особенной — тем, что стояла в стороне и от заводов, и от старых бараков, и даже автобусного и трамвайного движения. И тем, что само ушедшее время задерживалось здесь. Тем, что еще в начале девятисотых ее наметили, полюбили, назвали Звонкой и застроили отцы, хваткие сибирские скоробогатеи. Дома они строили на добытое ими золотишко, на выручку кто от продажи мехов, а кто и леса, угля, железной, уже добываемой здесь руды. И все это лежало, можно сказать, готовым или добывалось легко. Деньги были велики и легки, и потому дома — тоже, построенные частью деревянными, но тогда в кружевной резьбе, а частью каменными, но мелкой, добросовестной кладки кирпича на балках, кладки, в которой камень неуклюже таился за драгоценной деревянной резьбой...

Произошла революция. Был расстрелян Колчак, вычесаны из лесов банды. Купцы, поставившие эти удивительные дома, частью сбежали, унося с собой золото и драгоценные камни, частью расстреляны (если имели глупость ввязаться в шедшую борьбу). Прочих же, уцелевших мелких либо просто людей поклайстых, гнали в таежные лагеря, чтобы перевоспитывать, делать из них людей трудовых, родственных победителям. А дома остались, их заняли уже советские учреждения, заселили либо инвалиды гражданской войны, либо наиболее ответственные работники. И пошло-побежало новое время в трудах...

И как-то так получилось (затеял это предгорисполкома Гладышев), что лучшие дома города — в пику купцам — выстроили на той же самой улице, названной (в пику мировому империализму) улицей Карла Маркса. Неизвестно, как это пережила мировая буржуазия, но для города было событие. По этой причине здесь ставили новейшие, конструктивного стиля дома, со стенами-окнами — в пику той же буржуазии — невыносимо холодными зимой. И в 30-х годах тяжеловесный, неудобный и чем-то милый псевдоклассический стиль начинался тоже здесь — колонны, портики, атланты... Дома такой постройки смотрелись сейчас очень даже неплохо, со всеми ложными своими колоннами, барельефами из гипса, с громадными квартирами, в которые не могла поселиться одна семья, а только несколько. И строились, строились отличнейшие теплые бараки, множество их, в них была нужда).

Но бараки появились потом, т. к. были построены сначала станкостроительный завод, затем металлургический комбинат, за ним и химический, производивший магнезию и на всю зиму застилавший небо тоненькой пленкой, пылевой легкой взвесью. К весне, если зима была малоснежной, пленка затягивала даже солнце, к радости фотографов, снимавших против света. И вот уже стали умирать сосны, что были в парках (около них и выросла толпа деревянных, одноэтажных, длинных домов-бараков).

Соединенная мощь завода и двух комбинатов в 30-х годах сместила городские силы и к 1935 году перетянула центр города в другое место, на улицу Коммунаров. Там и было поставлено новое здание обкома (колонны, фриз, лепнина), был разбит сквер Героев революции, поставлены отлитые из бетона статуи героев, даже выстроен фонтан, в бассейне которого летом купались мальчишки. Казалось, что здесь теперь — и во веки веков! — быть центру города. Потому сквер даже называли Центральным сквером.

Но неожиданно на роль центра города стал претендовать всей массой жилых зданий Железнодорожный район. С начала основания города у вокзала строились только частники, и было их там множество. Заводы же располагались в местах, куда было легче подвозить сырье из рудника. Но когда город распух, разросся и добрался до западных болот, до лесов, что лежали на север, и терриконов, опоясывающих город с юго-запада, кое-что обнаружилось. Например, оказалось, что пустыри для постройки высотных зданий остаются около вокзала, здесь поставлена самая большая в городе больница, и сам вокзал был всегда изрядным магнитом для людей, жить около него считалось благим делом. Конечно, до работы далековато, но есть трамвай, ходят автобусы. Зато городской базар расположился около вокзала, и это стало важно с исчезновением десятков тысяч частных огородиков. Их смели наступающие высотные дома. И при переборах в торговле ездить в выходные дни за продуктами в деревню отсюда было удобно. А железная дорога здесь уходила вглубь лесов, к богатым деревням, в южную сибирскую тайгу, составленную из сопок, лиственниц, рек, лесов, пашен, пасек и т. п. По обе стороны «железки» шли деревни, соединенные дорогами с другими деревнями. И все же, несмотря на новые высотные дома, не мог весь город переселиться сюда. Зато при размене квартир к привокзальной притягивалась совершенно автоматически или еще одна комната, или — из рук в руки — тысяча рублей «навару».

Нельзя всем было прилепиться здесь, но такое стремление было, поддерживаемое ранними пригородными поездами. Ими уезжали и приезжали колхозники и жители. И протянулся (кроме трамваев) 121 автобусный маршрут (конечным был почему-то 121а, хотя 121б и не предвиделся). Прошло время, и здесь выросли новые горожане, сытее других.

В таежных деревнях и поселках жила их родня, она всегда могла дать или продать масло, картошку, яйца, мед, даже мясо.

Город о трех центрах рос и молодел при этом, и уже поговаривали, что в здании обкома сделают больницу, а его переведут в новое. Улица Маркса хирела и старела. И все-таки она выглядела щеголеватой, частью и потому, что теперь все старое вдруг полюбилось снова — книги, здания, утюги, керосинки, лампы.

...Парень озирался, пожалуй, даже со страхом. Потому что все здешние старые дома-коробки 30-х годов, те, что с колоннами, и особняки с каменными финтифлюшками тяжелели в темноте и разбухали в ней, как сухари в воде. Они уходили в землю, но огни в окнах улицы, поднимающейся вверх, тянули дома в звезды.

Так казалось парню — все было странно перемешано... Все изменилось. Даже сильные звуки его мощной «Явы» глохли, словно вскрики рта, зажимаемого ладонью. И парню тоже захотелось крикнуть, заорать так, чтобы вздрогнула эта пустынная странная улица, где когда-то ходили купчики, потом революционеры, потом жители ее...

Это желание заорать: «Да что же это делается?!» — мелькнуло днем, но сейчас оно было острым, почти неодолимым. Дома расплывались в темноте, сливались с землей, в небо рвались лишь их огни. И парню хотелось закричать: «Да за что же?.. Почему?» И ударить кулаком.

Он после смены принял душ и, обернувшись махровой простыней, прилег на диване и подремал полчаса. Потом поднялся и ел, и пил что-то. Затем он оделся в отглаженный костюм (еще с вечера приготовил), надел его поверх нового и мягкого шерстяного белья. Сходил и прогрел мотоцикл (зиму не ездил), и парню стало радостно, весело перед поездкой. Вернулся и оделся по-настоящему, и снова сбежал. Он поправил шлем, сел на машину и прикатил сюда, на улицу. Здесь, погасив мотор, завел мотоцикл во двор и побежал к Тане наверх — все пять этажей. На бегу он, хватаясь, раскачивал толстые, допотопные, но добротные перила лестницы.

Он влетел к Тане радостный и запыхавшийся, с топорщившимися усиками и потным лбом, кудрявый, любящий и сильный. В окно било солнце — прямо в лицо. Парню было радостно и за себя, и за Таню, ведь он хотел ей сегодня такое сказать. И вот он здесь.

3

Он приехал сюда отдохнувший, насквозь пропитанный хорошим одеколоном «Шипр». Им он мочил волосы, его плеснул себе за шиворот. Запах от парня шел такой густой, что, выйдя во двор, он даже задохнулся на мгновение — перехватило дыхание. Он открыл гаражик и вывел машину, впитавшую весь зимний холод. Она имела вид смиренный, но лукавый, глядела на парня своими циферблатами (хорошая это была скотинка,

послушная, сильная, добрая). Он осмотрел ее еще раз, хотя готовил мотоцикл давно, как говорил отец, вылизал его весь. Затем включил мотор и ждал, когда тот кончит чихать и фыркать. Сбегал, оделся в кожаную куртку. Заперев гараж, он сел на машину («Давай, милая»), тронул рычаги, оттолкнулся ногой. И почувствовал к ней великую благодарность — мощный, но спокойный ход, могучее и бархатистое мурлыканье двигателя, движение тихое, спокойное, уверенное. Шелест лопающихся лынок. Мальчишеские восхищенные окрики. Мелкие эхо, рожденные закоулками домов, их удары в лицо.

Он приехал к Тане с нетерпением. Такого с ним еще не бывало. Девушки были самые разные, даже много. Он в разговорах с приятелями-мотоциклистами называл своих подружек «морковками» (те — тоже). Летом они часто, всей моторизованной громыхающей стаей, уезжали в лес, и позади на седле у каждого сидела подружка. Но все это было так, и чаще всего дело кончалось слезами и упреками или даже ссорой. А вот с Таней у них как-то сначала вышло все солнечно, а в ее комнатке в общей громадной квартире тепло, вольно, мягко. Так бы и остался. Сколько бы ни куksились живущие здесь же старухи. Странный народ эти старухи, удивлялся парень. И хотя комнаты (все семь) были большие, с высокими потолками, солнечные, старухи постоянно злились на комнаты, солнце, всё. И все они были злы на парня, толстые и тощие, подслеповатые и глазастые. И наблюдали, наблюдали.

Он побаивался этих старух и, если взбегал по лестнице, то все же не звонил, как хотелось, а открывал дверь своим ключом. Его подарила Таня. И если удавалось пройти коридор незамеченным, он скребся в дверь Тани. И часто слышал кашель и оборачивался — старуха, тощая или рыхлая, в очках или нет, смотрела на него. И шипела:

— Чем таскаться, женился бы, что ли... Рас-путник...

Таня была в халатике или уже одетая для выхода в узкое и черное платье. Оно ей очень шло, перекликалось с бровями восточного рисунка, подчеркивало белизну лица, прямо-таки снежную. И парня охватывал телячий восторг. Хотелось орать, прыгать, подкидывать ее... А приходилось сдерживаться, если было платье. Его она меняла на работе на другие одежды, какие ей полагалось надевать в тот вечер.

Когда Таня выходила в этом платье, в плащике осенью, в дошке зимой, он отвозил ее в театр на такси, а сам шел в зал. Он садился и, зажав руки коленями, смотрел и слушал, мало что понимая. Он видел на сцене одну только Таню, пляшущую, что-то поющую. И если не ее был выход, парень с недоумением таранился на сцену, не понимая, на кой дьявол выходили все эти, как не стыдно им переодеваться, хрипло петь перед зрителями, по-видимому, вполне серьезными в своей жизни людьми. Но те аплодировали.

Затем он увозил Таню домой, и тут было по-разному. Если ей хлопали, она была к нему доброй, и он оставался на всю ночь. Скинув ботинки, он ложился на кушетку, заведя большие черные руки за голову. Блаженствовал. Таня, ничуть не усталая, с блестящими глазами, велела зажмуриться и переодевалась в халатик. Затем кипятила чай и готовила бутерброды с сыром и маслом. Они ели, болтали, они пили «Каберне», кислятину цвета красных чернил, и парень уверял, что Таня от вина стала косой и восточной женщиной. Парень забывал, что на сцене Таню целовал пузатый старик, притворившийся лордом, и долговязый мосластый мужик, которому парень давно намял бы шею, если бы это не было его обязанностью — тоже целовать его Таню.

Ну, а затем была ночь... Если Таня встречала его в халатике, значит, в этот день она не играла. И тогда, обнявшись, они сидели на кушетке. Иногда Таня была в черном платье, а никуда не шла, просто у нее сидели гости — тот старик, и молодой, и мосластый, и актрисы с выщипанными бровями. Они заходили к Тане «на огонек», приносили с собой бутылку осточертевшего «Каберне» и конфеты, почему-то обязательно «Кара-кум». Они пили вино с конфетами и говорили о театральных делах, оказавшихся (это поразило парня) сложными. Взять хотя бы борьбу за роли, за поездку с труппой в Свердловск или даже в Москву. Там закупались ими одежда и обувь, там же могли «заметить и взять», чего всем очень хотелось. Рассказывали о гастрольных поездках, о разных случаях — от мелочей (ломился пьяный в номер) и до того, что угорела насмерть какая-то Валентинова, заснув в автомобильчике-фургоне, как будто бы пьяная, а туда забивались выхлопные газы. Если бы парень не ждал, дергая коленками или сжимая и разжимая кулаки, когда все разойдутся, чтобы выйти со всеми и бегом вернуться обратно, он бы заинтересовался и рассказами, и тем, мосластым, даже актрисами. Поговорив, начинали артистничать: пели дикими голосами, декламировали, кривлялись забавно. И парень хохотал, блестя белыми ровными зубами. И тут же краснел совсем по-мальчишески, потому что какая-нибудь актриса, с кожей, увядшей на висках и с черными пылинками на носу, кричала:

— Огурчик! Так бы и съела!

— Ешь, я разрешаю, — улыбалась Таня.

В общем, это интересный и приятно странный народ, плюющий на обыденную жизнь. Серьезно актрисы говорили только о театре, да еще о мюзикле, который они когда-нибудь поставят. Иногда они с любопытством — рабочий! — кидались к нему с расспросами. Будто он был марсианин. Но и это было несерьезно, такую они мололи при этом чепуху.

Сегодня он застал у Тани режиссера. Таня была в халатике, и на столе — бутылка коньяку местного разлива, сыр и хлеб. В масленке было масло, в конфетнице — конфеты. Словом, полный ажур.